

эссе

Аделя Хаиров

Физически я родился в Нижнем Новгороде.  
Но духовно – в Казани.

Максим Горький



Студентом я заглядывал в тёмные подвальные окошки, торчащие из сугроба в заставленном дворике ресторана «Восток», где когда-то находилась пекарня Семёнова, пытаюсь там что-нибудь разглядеть. Внутри пузырь лампы изливал сумрак на раскрытую книжку, в которую углубился сгорбленный повар в колпаке. Мне казалось, что мутные стёкла заляпаны мукой.

*«Нам было душно и тесно в каменной коробке под низким потолком, покрытым копотью и паутиной. Нам было тяжело и тошно в толстых стенах, разрисованных пятнами грязи и плесени...»* – так вспоминал Горький об этом подвале.

Знал бы Семёнов какую «змею» пригрел, может быть, тогда бы жалования прибавил! Писатель оставил нам живописный портрет хозяина пекарни: «Большущий, чёрный таракан...» Это был мот, когда уходил в запой, и большой жмот, когда трезвел. Он никого не любил на свете кроме своих свиней, которых содержал в чистоте и сытости, ведя с ними беседы по душам! Ну, как такого не описать?!

Пекарня «таракана» находилась в самом центре бывшей Рыбнорядской площади (ныне площадь Тукая), пропахшей насквозь бочковой селёдкой и речной рыбёшкой. Ещё лет двадцать назад этот запашок выбивался из дверей магазина «Рыба – Балык» и обдувал прохожих.

Об этой пахучей площади Сергей Гольцман, автор книги «Ф. И. Шалапин в Казани», напишет: *«Вверх по Рыбнорядской улице по направлению к театру прямо по её середине тянулась целая вереница дощатых лавочек, где торговали хлебом, воблой, спичками, лаптями, всевозможными товарами первой необходимости. Эти осевшие*

*чуть ли не до земли лавочки напоминали крысы норы».*

Моя Казань 90-х ещё дышала Пешковым. Дома, домики, заборы, голубятни, бурьян... Крашенные доски и обожжённый красный кирпич, обласканный дождями и ладонями. Как они светились, впитывая лучи казанского солнца, а вечером отдавали тепло! С железобетоном солнце так не играет.

Я крался за Пешковым, еле поспевая. Ходил он тогда в больших растоптанных валенках и татарском кафтане, через плечо – корзинка с булками и сайками. Между ними всунута дешёвая книжка. Таким его вспоминали современники. Мне стало интересно, сколько же тогда стоил хлеб и другие продукты? И я узнал, что...

**Батон чёрного хлеба за 400 граммов – 3 копейки, свиная шейка за 1 килограмм – 30 копеек, лец свежий за 1 килограмм – 24 копейки, чёрная икра зернистая за 1 килограмм – 3 рубля 20 копеек, солёный огурец – 1 копейка, рюмка неочищенной водки (50 г) – 5 копеек.**

Кстати, копеечной была и пища духовная.

Так, билет в кинематограф обошёлся бы в 20 копеек. В театр на галёрку можно было попасть и за 10 копеек. Книжки были разные, самые дешёвые – бу на развалах от 20 копеек и выше. Но вот за модный музыкально-звуковой аппарат акционерного общества «Граммфон» нужно было отстегнуть уже 50 рублей.

Получал Пешков как подручный пекаря и разносчик булок – около десяти рублей в месяц, отсюда и валенки от первых до последних холодов. Так как...

**Сапоги яловые – 5 рублей, рубаха выходная – 3 рубля, пальто суконное – 15 рублей.**

Проходя мимо ночлежек Луппа Марусова, располагавшихся в нынешнем

Профессорском переулке, Алёша Пешков встречал многочисленных знакомцев – «сомнительный сброд», который поутру вылезал из нор на промысел, чтобы потом на *ворованные, отнятые, выпрошенные, заработанные* большим телом копейки закупить водки с закуской и снова залечь на «дно».

Если бы прочитали они, что Пешков потом напишет про них в своих книжках, то либо перо ему в бок сунули, либо залили «казёнкой» до краёв, заботливо накрыв бездыханного вшивым одеялом, а может даже кунью шубу с чьего-то барского плеча подарили! Для них что убить, что полюбить... – небольшая разница.

Горячие булки он носил на Николаевскую площадь, по выходным здесь народ толпился у балагана, где паясничал Яшка Мамонов (тут же тёрся и Федя Шаляпин). Ныне на этом месте «сидит» памятник химику Бутлерову, а за его спиной бьёт старинный фонтан, подарок городу одной бельгийской компании. Ещё Пешков разносил сайки по адресам, написанным на бумажке, – студентам, курсисткам да мелким чиновникам. Он весь пропах хлебом и кислыми дрожжами.

Сегодня в Казани вкусно пахнет хлебом, пожалуй, только у железнодорожного вокзала, где находится хлебо-бараночный комбинат. Тёплый сытный аромат накрывает озадаченную толпу. Люди от такого запаха добреют, сглатывают слюну и удивляются: «Откуда?». Мы давно уже привыкли к выхлопным газам и куреву, а в той пешковской Казани повсюду пахло небольшими пекарнями. Разные, конечно, в азиатском городе витали и ползали запахи (благоуханье нередко спорило с вонью!), но хлебный всё облагораживал, хрустящей корочкой накрывал!

Ландшафт Казани изрезан буераками и вздыблен косогорами, в апреле по ним вприпрыжку, толкаясь, бегут ручьи. Сдвигая чёрные льдины, высвобождают горб мостовой, по которой прыгал Пешков. Ныне это улочка Галактионова, которая поднимается к его музею.

В подвале здесь работала пекарня Деренкова, и в ней тоже квасил и месил тесто Алексей.

В трёх шагах от пекарни находилась Земская управа (ныне в этих помещениях размещается музыкальное училище им. И. Аухадиева), где прилежно скрипел пером за 8 рублей в месяц Фёдор Шаляпин. За булками в обеденный час он бегал к Деренкову, тут они и познакомились. Один в муке, другой – в чернилах!

Как-то набирали хористов в церковь Духосошествия (это здание, где долгие годы размещался кукольный театр, теперь возвращено епархии). Так вот, Пешков прошёл, а Шаляпина забраковали. Секрет потом раскрыл сам писатель, рассказав, что булочки, работая с пяти утра до десяти вечера, дабы не заснуть, орали песни и пританцовывали.

От бывшей пекарни Деренкова пешком минут пять до Фуковского сада. До революции казанцы называли это место Фёдоровским бугром, по рядом стоящему монастырю. Зимой с крутого берега Казанки каталась на санках ребятня, как, впрочем, и сейчас. В сумерках склон пустел, летом ещё собирались в кустах бродяги, а зимой не было ни души. Вечером 12 декабря 1887 года Пешков направился сюда, твёрдо решив расстаться с жизнью. На толкучке за последние три рубля купил старый тульский револьвер, в барабане всего один патрон (похоже какой-то прапорщик хотел сыграть в русскую рулетку, да не успел, помер раньше от пьянки!). Торопливо сунул за пазуху и пошёл, качаясь на ветру. Сердце то прыгало, то вдруг замирало. Смерть плелась рядом, нашёптывая на ухо: «Гадко всё и мерзко. Жизнь – дерьмо. Зачем страдать?» Своё состояние в тот день Горький опишет так:

*«Я впервые ощутил усталость души, едкую плесень в сердце».*

Казанские литературоведы причину, чтобы свести счёты с жизнью, называют первую, но безответную любовь Алёши к девице Марии. Якобы всё это

привело к острому душевному кризису... Скорее всего, первая любовь была лишь последней каплей. Впоследствии писатель и сам пытался разобраться в том, что с ним произошло.

*«Да, я тоже покушался на самоубийство, мне очень стыдно вспомнить об этом, и оправданий этой глупости я не нахожу до сей поры, хотя это случилось со мной 23 года тому назад. Стрелялся я потому, что признал себя неспособным к жизни, но людей – ни в чём не обвинял, хотя они обращались со мной весьма неласково».*

Мария Деренкова была сестрой приятеля Пешкова Андрея, сына хозяина пекарни Деренкова. Она хоть и тянулась к рабочему классу и заслушивалась пылкими революционными речами на студенческих посиделках, но только чисто теоретически. Настоящий пролетарий Алёша Пешков, долгоязый недотёпа, рядом с говорливыми студентами с горящими глазами сильно проигрывал. Был неуклюж и косноязычен, как-то раз, когда клеймили дом Романовых, попытался взять слово, но понёс такую ахиною, что был поднят на смех. Громче всех смеялась Мария.

С тех пор в диспуты не ввязывался, но игра в революционера продолжалась. По ночам помогал печь хлеб, а утром, бросив на дно корзины прокламации, запрещённую литературу, записки «товарищам» и завалив всё сверху горячими булками, шёл в народ. Студенты Казанского Императорского университета, а также и исключённые, вовсе расшатывали трон самодержавия, получая удовольствие от опасности. Они красовались друг перед другом, сыпля цитатами из Добролюбова, Чернышевского, а Пешкова использовали как пешку... для побегушек. Прозрел он лишь 4 декабря 1887 года, когда в университете состоялась знаменитая студенческая сходка. Власти арестовали зачинщиков, среди которых были и друзья Пешкова. И вот тогда он перепугался, и вся эта затея со свержением царя показалась ему глупой детской затеей, способной сокрушить лишь снежную

бабу во дворе! А тут ещё из Нижнего Новгорода пришло письмо с известью о смерти бабушки Акулины Ивановны Кашириной. Ему она была как мать. Осиротел Алексей.

Он скатился по склону вниз. Пушистый саван накрыл его. Нащупал револьвер, нагретый живым телом, и... Хлопок поднял стаю ворон. Он задыхался, лояя ртом летящую снежную вату, надувая кровавые пузыри. Сторож Фёдоровского монастыря Мустафа Юнусов чистил в это время дорожки. Он услышал выстрел и крик. Подбежал, свесился, ухватившись за куст, и увидел чёрную фигуру человека на снегу. Если бы не Мустафа, то не было бы Пешкова, не было бы Горького, а вместе с ним Фомы Гордеева, Клима Самгина, Вассы Железновой, Егора Булычова, Макара Чудры, Челкаша и Данко...

Пуля всего на полсантиметра прошла ниже сердца и, пробив лёгкое, ушла в сугроб. Сторож вытащил его за шкуру наверх, погрузил в сани и погнал в земскую больницу (сейчас здесь, на улице Карла Маркса, 17, находится Кардиологический центр). Самоубийцу прооперировали, а наутро в газете под рубрикой «Происшествия» появилось сообщение:

*«12 декабря, в 8 часов вечера, в Подлужной, у реки Казанки, нижегородской цеховой А. М. П., 32-х лет, выстрелил из револьвера в левый бок, с целью лишить себя жизни».*

Алексею Пешкову «жёлтый» репортёр добавил лишних 13 лет! Может быть, тогда на койке тот и выглядел значительно старше? Полицейский обнаружил в комнате самоубийцы-неудачника три предсмертные записки. В одной из них Алексей винил в своей смерти самого Гейне «выдумавшего зубную боль в сердце». Пошутил!

Казанская консистория тут же приговорила предать самоубийцу «приватному суду приходского священника с тем, чтобы он объяснил ему... назначение земной жизни». Хорошо бы подобные беседы вести со всеми молодыми людьми и сейчас!

В ответ Пешков написал ироничное стихотворение «Попу ли рассуждать о пуле». Хотя ранение было серьёзным, но Алексей быстро шёл на поправку. Этим выстрелом в овраге и завершился казанский период писателя, он «выздоровел на долгую и упрямую жизнь» и весной отправился в «великое хождение по Руси». Пошёл собирать характеры, типажи и житейские ситуации для своих будущих книг.

Когда в 1928 году казанские краеведы, руководимые известным археологом Николаем Филипповичем Калининым, разрабатывали маршруты по горьковским местам Казани, они отправили писателю в Сорренто план города с просьбой уточнить адреса. В своём ответном письме он отмечал такие де-

тали, что «Булочная Деренкова, – первая, на М. Лядской, дверь – на площадь; товар из булочной в лавку Деренкова я носил через двор «Марусовки», задворками Панаевского сада». Местонахождение булочной и крендельной Василия Семёнова – «угол Рыбнорядской и Проломной».

Поясним, что Малая Лядская – это часть современной улицы Горького, от её угла с улицей Галактионова до Пушкина. «Задворки Панаевского сада» находились на месте Дворца детского творчества им. Абдуллы Алиша.

Писатель также отметил «место, где пытался застрелиться» и отослал краеведов к рассказу «Случай из жизни Макара», который мы здесь и приводим...

## рассказ

Максим Горький

# Случай из жизни Макара

...Макар решил застрелиться.

Незадолго перед этим он чувствовал жизнь интересной, обещающей открыть множество любопытного и важного; ему казалось, что все явления жизни манят его разгадать их скрытый смысл.

Ежедневно, с утра до ночи, тянулись они одно за другим, как разнообразно кованные звенья бесконечной цепи; глупое сменялось жестоким, наивное – хитрым, было много скотского, немало звериного, и – вдруг трогательно вспыхнет солнечной улыбкой что-то глубоко человеческое – «наше», как называл Макар эти огоньки добра и красоты, которые, лаская сердце великою надеждой, зажигают в нём жаркое желание приблизить будущее, заглянуть в его область неизведанных радостей.

Жизнь была подобна холодной весенней ночи, когда в небе быстро плывут изорванные ветром клочья чёрных облаков, рисуя взору странные фигуры, а внезапно между ними в мягкой глубокой синеве проблеснут ясные звёзды, обещаая на завтра светлый, солнечный день.

Был Макар здоров и, как всякий здоровый юноша, любил мечтать о хорошем, – жило в нём крепкое чувство един-

ства и родства с людьми. В каждом человеке он хотел вызвать весёлую улыбку, бодрое настроение, это ему часто удавалось и, в свою очередь, повышая его силы, углубляло ощущение единства с окружающими.

Он много работал и немало читал, всюду влагая горячее увлечение. Хорошо приспособленный природою к физическому труду, он любил его, и когда работа шла дружно, удачно – Макар как будто пьянел от радости, наполняясь весёлым сознанием своей надобности в жизни, с гордостью любясь результатами труда. Он умел и других зажечь таким же отношением к работе, и когда усталые люди говорили ему: «Ну, чего бесишься? Ведь хоть надвое переломись – всего не сделаешь!» – он горячо возражал:

– Сделаем, а там – гуляй свободно!

И верил, что, если убедить людей дружно взяться за работу самоосвобождения, – они сразу могли бы разрушить, отбросить в сторону всё тесное, что угнетает, искажает их, построить новое, переродиться в нём, наполнить жилы новой кровью, и тогда наступит новая, чистая, дружная жизнь!

Чем больше он читал книг и внима-

тельнее смотрел на всё, медленно и грязно кипевшее вокруг, – тем ощутимее и горячее становилась эта жажда чистой жизни, тем яснее видел он необходимость послужить великому делу обновления.

Каждое сегодня принималось им за ступень к высокому завтра, завтра, уходя всё выше, становилось ещё более заманчивым, и Макар не чувствовал, как мечты о будущем отводят его от действительного сегодня, незаметно отделяют его от людей.

Этому сильно помогали книги: тихий шелест их страниц, шорох слов, точно шёпот заколдованного ночью леса или весенний гул полей, рассказывал опьяняющие сказки о близкой возможности царства свободы, рисовал дивные картины нового бытия, торжество разума, великие победы воли.

Уходя всё глубже вдаль своих мечтаний, Макар долго не ощущал, как вокруг него постепенно образуется холодная пустота. Книжное, незаметно заслоняя жизнь, постепенно становилось мерилom его отношений к людям и как бы пожирало в нём чувство единства со средою, в которой он жил, а вместе с тем, как таяло это чувство, – таяли выносливость и бодрость, насыщавшие Макара.

Сначала он заметил, что люди как будто устают слушать его речи, не хотят понимать его, и в то же время в нём явилось повелительное тяготение к одиночеству. Потом, каждый раз, когда его мнения оспаривались или кто-нибудь осмеивал их наивность, он стал испытывать нечто близкое обиде на людей. Его мысли дорого стоили ему: он собирал и копил их в тяжёлых условиях, бессонными ночами, за счёт отдыха от дневного труда. Был он самоучка, и ему приходилось затрачивать на чтение книг больше усилий, чем это нужно для человека,

чей ум приспособлен к работе с детства, школой.

Утратив ощущение равенства с людьми, среди которых он жил и работал, но слишком живой и общительный для того, чтобы долго выносить одиночество, Макар пошёл к людям другого круга, но в их среде, – ещё более и даже органически чуждой ему, – он не встретил того, что искал, да он и не мог бы с достаточной ясностью определить, чего именно ищет? Он просто чувствовал, что в груди у него образовалось тёмное, холодное зияние, откуда, как из глубокой ямы, по жилам растекается, сгущая кровь, незнакомое, тревожное чувство усталости, скуки, острое недовольство собою и людьми.

Люди нового круга были ещё более книжны чем он, они дальше его стояли от жизни, им многое было непонятно в Макаре, он тоже плохо понимал их сухой, книжный язык, стеснялся своего непонимания, не доверял им и боялся, что они заметят это недоверие. У этих людей была неприятная привычка: представляя Макара друг другу, они обыкновенно вполголоса или шёпотом, а иногда и громко добавляли:

– Самоучка... Из народа...

Это тяготило Макара, как бы отодвигая его на какое-то особенное место. Однажды он спросил знакомого студента:

– Зачем вы всегда говорите, что я самоучка, из народа и подобное?

– Да ведь это же, батя, факт!

Как бы там ни было, в этой среде Макар не мог укрепить свою заболевшую душу. Он пробовал что-то рассказывать о затмении души, был не понят и отошёл прочь, без обиды, с ясным ощущением своей ненужности этим людям. Первый раз за время своей сознательной жизни он ощутил эту ненужность, было ново и больно.

## Постскрипtum

В конце 60-х годов прошлого века поэт Евгений Евтушенко получил заказ – написать к юбилею Ленина шедевр о Казанском университете. Поэма получилась не столько о вожде, сколько о Казани и людях как известных, так и неизвестных

*...мимо щёлканья орешков,  
мимо звонких пролёток гостод  
Алексей по фамилии Пешков  
хлеб в корзине студентам несёт.*

*Он идёт по Проломной, Горшечной,  
и, не зная о том ничего,  
каждый встречный и поперечный  
заграбастан глазами его...*